ВАСЯ-ПРЕДТЕЧА

В те годы, когда колбаса на прилавках была вкусная, мясная, у нашего магазина установили стенд. С большой деревянной рамой. Со стенда в черно-белом обличье понуро глядели на прохожих красавчики. Асоциальные элементы, обречённые на казнь общественного порицания.

В школе тоже висела подобная рама, под стекло которой втискивали, как в смирительную рубашку, неисправимых шалопаев.

Районный милиционер, прозванный за африканские пигменты на лице Копчёным, активно принимал участие в родительском комитете и почти жил в школе. Без фуражки и ремня, в широких галифе, он только и вертел головой, ища беспорядок. Двигался стремительно, правым ухом вперёд, поставь перед ним столб — врежется. Забегал в туалет с расстёгнутой кобурой фотоаппарата, ставил курильщиков к стенке и шлёпал вспышкой.

Попал в объектив и я. И впал в отчаянье! Призывал богов и джиннов, чтобы моя фотография на стенде не состоялась. Ведь это такой позор — висеть в коридоре, безвольно, пристыженно, будто с тебя стянули штаны.

Копчёный будто не понимал, что дети могут переживать. Они были для него, как классовые враги, и с ними надлежало нещадно бороться.

Образ милиционера преследовал меня. Как при болезни вертиго, витал то справа, то слева. Бил крыльями от небес, жадно клевал в ночи мою печень и отлетал с визгом: «исключим из школы!»

Но джинны услышали мои молитвы.

То ли бросили щепоть молнии в ночное окно Копчёного, то ли срочно отправили в туалет его бабку, страдающую циститом, и та, свистя от нетерпения, включила в горнице свет, — погубив тем самым вожделенные плёнки, где под кровавой лампой в родильных водах проявителя рождалась моя просящая полуулыбка.

Школа школой, это внутренний мир. Но учинённый Копчёным стенд на центральной улице стал голгофой!

Ещё бы! Если мужик тащит через посёлок украденное бревно, то он семьянин. Его даже в пример ставят, мол, вот добытчик! Однако, если мужик с этим бревном попадётся, то всё. Он — вор!

Уважаемый пенсионер дядя Миша, в прошлом пожарный, до гроба потерял авторитет у местных старух, когда его печёное лицо с потерянными глазами поместили на стенде с надписью:

«Воровал во дворе магазина деревянные ящики»

Печатное слово в те годы, пусть даже коряво написанное чернильной ручкой, но все же от руки власти, имело решающее значение.

Особенно такое:

«В субботу мукосей хлебозавода № 3 Нечаев Василий подглядывал в банное окно за голыми женщинами!»

Вот это да!

Вот это обвинение!

Прохожие облепили стенд. С фотографии на них смотрел (возможно, последний раз в жизни) плюгавый человек с узким, как гороховый стручок, лицом.

Впрочем, среди негодующих были и сочувствующие. Ведь с таким обвинением одна дорога — на чердак, к намыленной верёвке, к прочным стропилам...

В посёлке наступила двусмысленная пауза. Ведь в субботу в бане перемылись все женщины околотка. Все до одной! И как им теперь быть? Всех, негодяй, видел, всех рассмотрел!

Юницы, проходя мимо стенда, гордо и с презрением вскидывали головы. Замужние женщины испытывали вину перед собственными мужьями, иные даже подумывали броситься с раскаяньем в ноги. Сами мужья хотели мукосея отдубасить. Но больше всех пострадали старухи, что сидели днями по лавкам у ворот.

Когда лишь узнали, чем мог грозить им Вася, лазая в непосредственной близости по стеклу, то разом в целомудренном ужасе заткнули подолом пах: свят! свят! свят!

Это ж надо! Всю жизнь с одним, царство ему небесное! Прямёхонькая, как линеечка, чистая. А тут прыщ с грязным оком! Тьфу, тьфу, тьфу! Вставали и с брезгливой чопорностью спешили за кумганами.

А что же сам Вася?

А Вася был мукосеем! Ему было не до стыда. Всю жизнь он таскал на плече тяжёлые мешки с мукой, поднимал на этаж и вытряхивал в прорву. Весь белый, насквозь, до третьих пор кожи, пробитый мучной пылью,— непробиваемый!

Надо сказать, Васю в те дни, хихикая, поддержали подростки. За эту вот бесшабашность, за прочие его мудрёные куролесы.

Вася сам шалопаем закончил восьмой класс, и хотя считался лучшим в кружке ИЗО, у него не хватило запаса бездарности неделями рисовать один и тот же кирпич, который мэтр ставил на подоконник, а сам уходил курить и возвращался часа через два с красным носом. Вася срисовал кирпич в полчаса, куда красивее, чем на подоконнике. Тогда оскорблённый мэтр сказал, что нет у Нечаева жилки, нет тех великих 95% труда, о которых говорено и говорено со всевозможных творческих президиумов,— словом, у Васи нет упорства и настойчивости, как, например, у Петрова, как, например, у Сидорова, которые в поте лица, повинуясь закону 95%, рисовали-рисовали всю неделю и, как положено, выдали кирпич, ровно на 95% на него похожий.

И вот уже более двадцати лет Вася работает мукосеем. Ноги его от напряжения искривились, стали колесом, мозоль на плече превратилась в панцирь, и могла на зависть фракийцам выдержать касание римского гладиуса, а то и сельдеобразной фалькаты, которой рубили в азиатских походах хоботы боевых слонов.

Ежедневно Вася выходил с хлебозавода на обед с горячей буханкой под мышкой, садился на траве у пивной. Подростки подавали ему гармонь, ложась на траву, щипали хрустящую корочку. Вася, от удовольствия переминался с ягодицы на ягодицу, играл есенинскую «Над окошком месяц». С нежностью слушал меха, выпускающие жаркий июньский воздух, и выражение лица его при этом становилось нездешним, райским. Играл он Славянку, и про трёх танкистов, и про лётчиков.

Но коронный его номер — болеро Равеля. Жуткое и долгое болеро Равеля. Все кто слушал, уже знали, что это болеро служило условным радиомаяком для американского пилота, ведущего самолёт с атомной бомбой на Хиросиму. Мукосей играл болеро мучительно, тяжело и долго, так что мучная пыль на его плеши от пота превращалась в тесто...

Обычно после рабочей смены Вася, отмывался в цеховом душе и шёл в поселковую библиотеку, что находилась дверь в дверь с винным магазином.

В библиотеке рассматривал репродукции средневековых живописцев, а после отправлялся сравнивать их с живым материалом.

Когда открывалась изнутри дверь библиотеки и бросала во тьму, на грязный тротуар, жёлтый коврик, никто бы в выходящем человеке не узнал Васю. Лицо его было строгим. Это был уже не разгильдяй Вася, а Мефистофель — с бледным горбоносым профилем, будто его вырезали из белой бумаги на Арбате.

Боязливо, как италийский анатом, рискующий соскользнуть в инквизиторский костёр, Вася взбирался на банный подоконник и вновь проникал в запретное — в освещённое яркими плафонами царство голых тел, где в глухих воплях, грохоте шаек женщины неистово натирались мочалками, изгибали крепкие поясницы, задирали на лавки бедра,— и находил, что великие мастера прошлого сумели-таки показать в женщинах характерное. Но все же...

Здесь, в бане, он видел не продажный блеск натурщиц, которых не один художник мял, прежде чем взяться за кисть, а — целомудренные, лишённые стыда и пляжного такта особи с натуральной, а не вмазанной пропорциями масла силой в мышцах. Здесь парились, обморочно выходили из дверей с багровыми телами, опрокидывали на себя каскады ледяной воды — предвестницы матриархата!

Насмотревшись, Вася спрыгивал с подоконника и шёл к кирпичной трубе, в пять охватов, возле которой лежали горы каменного угля, топливо для бани. Там, в развалах антрацита, уносящего в чёрную древность, Вася блаженно задирал голову к макушке трубы, плывущей в облаках, и предавался сладким грёзам.

Там и прерывал его мечтания Копчёный.

С группой дружинников приводил в красный уголок с горшком фикуса и бархатным знаменем вдоль стены. Долго смотрел на мукосея с омерзением, переходил от одного края длинного заседательского стола к другому. И, наконец, с любопытством оглянув дружинников, спрашивал:

— У тебя, Нечаев, что — жены нет?

— А вы что — на других женщин не заритесь? — независимо отвечал мукосей, всё ещё поглощённый своими мыслями.

— Я в банях не подглядываю.

— Мне нужна красота.

— Ты что — Леонардо да Винчи?

— Нет. Но мне кажется, что я не меньше его в женском теле понимаю?

— Ух ты!

— Я чувствую женскую кровь,— сказал Вася почти шёпотом.

— И потому на антраците занимаешься онанизмом?

— Это сакральное. Чтоб постичь большее, подняться на высоту, которую нам бог не дал.

— А не свихнёшься с такой высоты?

Копчёный не был бы тем Копчёным, если бы не организовал Нечаеву встречу у психиатра.

— Вы чувствуете такую патологию, что можете на улице наброситься на женщину и изнасиловать? — спрашивала в кабинете своего учреждения тучная женщина в белом халате, внешним видом и высоким кокошником на голове больше напоминавшая буфетчицу.

— Нет, это невозможно, — отвечал мукосей.

— Докажите.

Мукосей нервничал, мелко-мелко ломал пальцами спичку:

— Путём долгих наблюдений я установил, что на земле, по крайней мере, в нашем посёлке, зарождается матриархат. И берёт он свою силу за счёт красоты. Красивых женщин всё больше.

— Интересно.

— А мужики вымирают, — добавил мукосей.

— Это мы и без вас знаем.

— Знаете? Конечно, знаете! И про цирроз, и про инфаркт. И про то, что просто замерзают на улице. Сам прошлый год Чапурина на санках привёз. Ещё бы немного — и конец, а так хоть руку ампутировали. Но это не то! Вот смотрите... В мукосеи из мужиков никто нынче не идёт, остался один я, хотя шкелет шкелетом... Мужчины теряют тестостерон, а женщины крепнут. Вот в чём перемена века!

— Ну и что? Кто виноват?

— Природа! Вот пойдёмте в женскую баню, где сняты наряды и чулки. Какая там сила, красота. Это будущее!

— Да где ж там красота? — пошутила врачиха. — Все в мыле, а в волосах простокваша.

— Вот именно простокваша! Вот именно кислое молоко, или битые яйца! Имеющий глаза да увидит, — с обидой посмотрел на неё Вася.

— Вы прямо Тициан! — сказала врачиха.

— Нет. У Тициана с анатомией плохо.

— Что — он вам экзамены по анатомии сдавал?

— Экзамены не сдавал. А вот бабы у него рыхлые. Угасающий род. И потому в то время реванш взяли рыцари.

— Скорее он Дарвин, — нагнувшись к столу психиатра, разгладил свои тёмные пигменты Копчёный.

— Дарвин? — спросил мукосей. — Дарвин устарел. Тут сечение женских мышц нужно исследовать. Где ни меньше, ни больше, но сплошная гармония. А развитие теории Дарвина приведёт в формации женщин-горилл.

— Вы предлагаете лаборатории, как в СС? С этой самой линейкой?

Психиатр подняла голову в сторону Копчёного, чтобы тот приблизился.

— Лазить в баню он не перестанет, — сказала она тихо. — И если б он просто считал себя Тицианом... Он опасен как потенциальный маньяк. Скоро начнёт по закоулкам вылавливать женщин, исследовать сечение мышечных волокон.

Копчёный понятливо кивнул.

— Бережённого бог бережёт, — сказала она, — полечим. Впрочем, эффект будет непродолжительным. У него сильно развито либидо.

— Значит?..

— Значит, — сухо ответила врач и, склонясь над бумагами, стала заполнять историю болезни Нечаева.

ТАКАЯ ЖЕСТОКАЯ

Белые чулки, штопанные чёрной нитью,— это стволы берёз. Их будто развесили вдоль тропы на бельевой верёвке. Там растут бузина, боярышник. Есть забор, возможно, калитка. На калитке скособочился почтовый ящик, куда уже давно не приходят письма. Тихое патриархальное захолустье. Кажется, там притаилась истина, и когда подолгу глядишь на куст бузины, скамейку, веришь, что они о чём-то думают.

Остановится возле пенсионер с авоськой, сядет на край скамейки, уймёт одышку, достанет аптечный флакончик, выпьет изрядно капель. И, хмелея от спиртовой настойки, любуясь божьим светом, вдруг ощутит, что жизнь-то прожита счастливо.

Прохожая девушка замрёт на полушаге, вынет из ушей наушники, будто кто-то её окликнул, осмотрится, увидит лавку, неосознанно направится к ней, сядет, прижмёт пальцы к вискам, и, пребывая как в полусне, вдруг почувствует, что влюблена.

А вот первоклассник возвращается с уроков, усталый, голодный и опустошённый. Ему не хочется домой, у него двойка, в тетради всё исчёркано красным, будто порезал над ней палец... «Э-хе-хе!..» — вздохнёт бедолага, опускаясь на лавку и сознавая, как сложна и трудноподъёмна его жизнь.

В каждом провинциальном городе есть такие загадочные места.

Когда-то в старой Казани между парком Горького и Арским кладбищем находился спуск к песчаному пляжу на реке Казанке — серая лента асфальта. Слева над ней нависала гора, справа под кладбищенским холмом темнел овраг, заросший крапивой. Матёрая, в жемчужных гирляндах, эта нежить из пропасти источала жуть, звала как пасть растения-людоеда...

Вот мы плетёмся в гору после долгого купания, измождённые, извяленные на солнце старички... Вдруг трескается небо и ударяет ливень. Такой сильный, что, кажется, нас смоет. Крапива в овраге мгновенно смята, будто взорвался над ней инопланетный шар, по асфальту навстречу валом несутся горбатые струи. Как стаи живых рыб, бьются о щиколотки и отскакивают. Сестра крепко держит меня за руку, голову наклонила, распущенные косы полощутся, как рушники. Вода заливает ей глаза, она закрывает их ладонью и старается улыбаться, чтоб я не боялся.

Из посёлка Калуга купаться мы ходим через улицу Зинина, тогда деревянную, с пахучими липами вдоль тротуара. Заходим в угловой магазин «Обувь» — понюхать острый запах натуральной кожи. В магазине просители редки, и мы испытываем наслаждение, что нас не выгоняют.

Переходим улицу Ершова, совершенно пустынную. На конечной петле 8-го трамвая густо пахнет мазутом, индустрией. «Вечного огня» ещё нет. Стоит колонка. Из неё обязательно пьём, мочим головы, набираем в бутылки воду. Из ворот Арского кладбища глядят на нас лютеранские надгробия.

Долгая кладбищенская ограда тянется до крапивного оврага. Скрытая от солнца старыми деревьями, могильная земля за оградой в жаркую погоду преет, издаёт сладковатый запах. Робко приникаем к решётке и, шевеля губами, читаем имена и даты умерших. От слов «раб Божий...», «преставился...», «милостию Божьей» веет угрозой. Трепет вызывают и сами деревья, огромные, вековые. Комли их бугрятся над могилами, вылезая из тел людей.

Дальше ещё ворота, за ними — старинный флигель из красного кирпича. То ли склад, то контора могильщиков. Мы трещим наперебой, что во флигеле живёт поп с попадьёй. Кто-то даже их разглядел в тёмных покоях — оба в высоких клобуках, молились перед иконостасом, а потом поп, узрев подсматривающего, яростно погрозил тому пальцем и задёрнул занавеску.

Там же, у флигеля, стоит скульптура почётной гражданки О. Воронцовой-Журавлёвой, умершей сто лет назад в возрасте семнадцати лет. Местная патрицианка, высеченная из белого мрамора, в крестьянском платье и платке, вызывает почтение.

Сам спуск к реке достаточно протяжённый. По нему велосипедисты, не крутя педалей, набирают такую скорость, что велосипед начинает бить, вот-вот отлетит колесо... И тут, из-за горы, открывается вид на реку, на широкий пляж.

Казанка течёт просторно, противоположный берег зарос камышом; он тянется далеко, чуть ли не до нынешней улицы Амирхана. До него могут доплыть лишь смельчаки, и только взрослые. Возвращаются, измученные, с набухшими жилами и вздутыми животами, будто за рекой, куда они плавали, тайно вполз в них большой солитёр. Тяжело, как ласты, вынимают из воды ступни. В руках сжат пучок зелёных стрел с мягкими коричневыми бобинами, похожими на эскимо.

Мальчишки с завистью клянчат: «Дядя, дай один камыш!».

«Ещё чего! — отвечают те с самодовольной ухмылкой,— ищи дурака там!..»

Кивают в сторону противоположенного берега.

На пляже есть голубой домик медпункта, издали жутко пахнет йодом; «Спасательная станция» (здесь не страшно тонуть, ведь это почти как попасть под колёса «скорой»: раздавят и тут же вылечат); вот улица Подлужная, дебаркадер. Отсюда, бухтя, отходит теплоход «Москва», двигается вверх по речке, поворачивает за камыши и идёт, как комбайн по лугу.

Справа, как укрепление римского легиона, квадрат потемневшего от дождей забора «Сада юннатов».

Пляж переполнен, и уже здесь, у калитки в «Сад юннатов», сидят на расстеленных одеялах купальщики.

Мужчины в чёрных трусах, на головах закрученные с четырёх концов носовые платки. Тучные женщины в лифчиках, цвета стиральной синьки. Дорвались до воскресного солнца, сожгли ляжки полосой, будто их жарили на сковородке, не переворачивая. Перед ними на коврике: зелёный лук, варёный картофель, чищенный или в мундире, яйца, высохший на солнце хлеб, солонка. Иногда в алюминиевом бидоне квас. Вид мужчин уныл: а чё — квас?

Да и за квасом, у жёлтой бочки на колёсах, толпа людей. Стоят с бидонами, унылые, покорные судьбе и страшному зною. Вокруг голов намотано тряпьё, ниспадает на плечи, как у древних египтян.

Пиво и спиртное сюда не привозят. Здесь и без того случилась драка. Вот милиционеры ведут к мотоциклетной коляске подпитого мужика, а тот, раздувая жилы на шее, что есть мочи орёт: «Ко-ля! Ко-ля-а-а!». Кричит так, будто его ведут на костёр, а Коля и есть тот самый д'Артаньян, который сейчас подлетит, всех раскидает, выручит, избавит, спасёт. Мужика безжалостно скручивают, впихивают в люльку «Урала». На плечи ему верхом садится грузный милиционер, «утрамбовывает» задом,— и мощный «Урал» с грохотом мчит на вершину горы, к местному Олимпу, где ждёт бедолагу неминучая кара.

А вчера тоже было происшествие. С лодки нырнул в непрогретую воду фарватера армянин и умер от разрыва сердца.

После полудня песок на пляже накаляется так, что можно в нём сварить яйцо.

Я подпрыгиваю.

— Надень сандалии,— говорит сестра.

Находим место, стелем полотенца и раздеваемся. Сестра стягивает через голову сарафан, остаётся в тугих трусиках и лифчике.

Её тотчас окружают местные парни с Подлужной, человек пять. Они тоже в трусах, у тех, кто покруче, трусы с лампасами или сатиновые плавки, с завязками на бедре, как у первобытных.

Сестра красивая. Она уже большая, окончила восемь классов. Держит меня за руку, мы вместе входим в воду, она приседает и окунается, не выпуская моей руки.

Парни заходят в воду вместе с нами. Хотят с сестрой познакомиться, но не умеют это прилично сделать. Ударяя ладонью по воде, пускают в её сторону брызги. Сестре это не нравится, она глядит сердито, одна бровь взлетает и надменно подрагивает.

— Пойдём! — говорит она с гордым видом и тянет меня за руку. Эти парни с Подлужной не на той лошадке подъехали — и нарвались на гордячку. На самом деле сестра простушка. Как-то весной шли с ней по улице, издали взрослый парень окликнул её из своего палисада. Выкликнул только имя,— ласково и значительно: «Нэл-ля!». Она обернулась, опустила голову и счастливо бросила мне: «Побежали!» Я мчался за ней по снежной каше, ничего не понимая.

Напротив нашего дома, у игрального стола, часто торчали женихи. Иногда уходили к оврагу драться.

О, как здорово быть братишкой взрослой красавицы!

Ощущать свою значимость и подхалимство мужественных парней в клёшах с клиньями из красного бархата, вшитыми ниже колен. Конечно, в фаворе курсанты танкового училища, у них настоящая военная форма и пахнущие ваксой сапоги.

Тебя сажают на колени, обещают в следующий раз принести солдатскую пряжку, гильзы, погоны.

Ты не веришь счастью, жадность одолевает тебя, ты мечтательно закидываешь голову, зная, что тебя всё равно удержат рукой за спину и не дадут опрокинуться:

— Погоди, погоди! — говоришь, делаешь пальцами клювик.— А вот есть у тебя настоящая канадская шайба?

— Конечно, есть,— отвечают тебе с чудо-улыбкой.

— Это большая такая? Внутри которой — свинец?

— Н...ну да.

И ты готов выполнить любое поручение — передать сестре устную просьбу или записку,— весь до капельки крови продажный. Как Азамат, который «за лошадь Казбича отдал сестру заместо злата». Ты идёшь в дом и ругаешь непокорную, удивляясь, почему она к такому хорошему парню не выходит.

Особенно переживаешь за курсанта, он обещает принести настоящую ракету, она взлетает от удара основанием оземь. И из-за него ты ссоришься с сестрой и называешь её дурой. За это она метелит тебя обеими руками так, будто выбивает подушку, и суёт носом в угол пахнущего дустом дивана.

Однажды средь бела дня, в воскресенье, случается серьёзная стычка между курсантом и двумя студентами.

Вон они за окном — трое. Конечно, я думаю, что курсант победит, потому что он военный. Но мне говорят, что тех двое и у курсанта нет шансов.

В руке студента авторучка, он настойчиво указывает ею в сторону оврага, приглашая туда пройти. Курсант, Виктор Ильичёв из Саратова, красавец-богатырь (у меня до сих пор хранится его фото), улыбается агрессивному визави и, собственно, не отказывается идти к оврагу.

— Да ради бога,— говорит он.

Высыпают из соседних домов старухи и дети, начинают глазеть.

Парни трезвые, драка так не состоится.

Сестра сидит в саду напуганная.

Бабушка, воспитанная в мусульманском духе, опозорена:

— Караул! Под окнами оказалось сразу три жениха?! — кудахчет она по-татарски.

В сердце сестры живёт другой парень. Они уже год встречаются. У них сильная любовь. Они десятилетиями не смогут расстаться, амбициозные, непримиримые. А если разлучатся, то будут разрушать жизни друг друга одним только своим существованием на земле.

Всё это будет позже.

А пока мы купаемся целый день и загораем на Казанке.

У нас с сестрой тоже авоська, где соль, зелёный лук, сваренные вкрутую яйца и в бутылке самодельный квас, сладкий. Сестра мне как младшему наливает больше, чем себе.

Как вкусно! И как чудесен мир!

Вот справа, где находится «Куба», за холмами, что-то ужасно грохочет. Будто с рёвом несётся по земле Змей Горыныч. Я ещё не знаю, что это поезд, уходящий в Сибирь.

Иногда оттуда же, из недр холмов, взлетает самолёт. Распластав крылья, трещит над головой. С земли отчётливо видны прямоугольные окна, алюминиевые листы с заклёпками и, кажется, голова лётчика.

...Теперь это небо застят конструкции громадного моста «Миллениум».

Когда не было нового шоссе к «Миллениуму» и жив был старый спуск, я поднимался по нему на автомобиле к самой макушке горы, поворачивал вправо, на грунтовую дорогу, с непросыхающими лужами и следами от копыт конной милиции. По перемычке между откосами переезжал на другой холм и оказывался над частными домами Подлужной. Эту дорогу от понтонного моста мало тогда кто знал.

С холма открывался обширный вид на Заречье.

Я ставил машину на краю обрыва. Разжигал костерок из сухой травы, вынимал из багажника турку, воду и пачку чая.

Комки сухого бурьяна, задыхаясь в седом дыму, выворачивали пламя изнанкой. Вскоре в турке закипала вода. Я заваривал чай, переливал в чашку, садился, отхлёбывал.

Редкие прохожие, что сворачивали возле меня по тропе на Подлужную, должно быть, находили странным вид отщепенца с первобытным костром в центре мегаполиса.

Однажды в августе, когда по приезде в Казань я так отдыхал, судьба ниспослала на тропинку женщину. Статная брюнетка с синими, почти фиолетовыми глазами шла в мою сторону, глядя на мой костёр. Сидя в дыму, ароматах чая, я повернул голову, невольно обратив внимание на её красоту. Но тут заметил, как по лицу её прошла судорога, подбородок затрясся. Не стесняясь, с открытым лицом, чуть не плача, она всю дорогу, до поворота вниз, смотрела на мой мирок...

Мне стало не по себе. Я отвернулся.

Потом видел, как она спускалась. Коричневое темя с уложенной причёской, узкие плечи в трикотажной кофточке...

Когда работают бульдозеры, человек, долго отсутствовавший, в новом ландшафте теряет ориентацию. Где находился мой любимый спуск, «Сад юннатов»? Всё раскатали, не было даже маячка для ориентации.

На съезде к «Миллениуму» остановка запрещена, да и опасна — могут ударить в зад... Я проехал на пляж со стороны Подлужной. Обнаружил там грязь и брошенные строительные материалы. Рискнул проехать дальше, до бывшей косы — к пляжу

«солдатскому», что под «Кубой». «Нива» преодолевала кочки, валила камышовые заросли. Выехал на пятачок, развернулся у старых ив.

«Солдатский» пляж был чист и нетронут, только река казалась заметно уже.

На обратном пути остановился под «Миллениумом». Начал вглядываться в разрытую местность. Где же был тут спуск?.. Неужели всё стёрто с лица земли?! Да, есть в созидании нечто и от варварства!

Я петлял на машине вверх по впадине, ехал под мостом наугад, приоткрыл дверцу, разглядывал грунт, азартное предчувствие не покидало. И вот под колесом мелькнуло! Будто обломок грязного льда. Ещё и ещё. А вот небольшое плато. Среди грязи я нащупывал русло. Кажется, нашёл. Боже, как же этот артефакт сумел спастись тут от бульдозерного ножа?! О, моя древняя Аппиева дорога! Я тебя нашёл! Я чуть не плакал от восторга.

Дальше пошли горы земли. Я включил блокировку, пониженку, дал машине вдоволь бензина! «Нива» взревела, пошла, ныряя, как катер, распахнула кустарник. И я, как попаданец в романах фэнтези, в одну секунду из мира прошлого оказался в мире реальном: вылетев из кустов, машина встала мордой к встречке. Перед моим носом в сторону «Миллениума» неслись по шоссе иномарки.

Седой благообразный господин пришёл на встречу к главному входу зирата.

Мы пробираемся по снегу среди могильных оград.

— Она так смеялась, так смеялась!.. Я стеснялся ходить с ней на комедии,— говорит он за плечом.— Она так смеялась, я не могу!..

Плечи его трясутся.

Мы стоим возле свежей могилы. Из сугроба торчит оструганная доска с жестяной косынкой, с именем и датой смерти.

Мужчина всхлипывает, о чём-то просит. А она молчит, такая жестокая!

А я вижу ливень на старом спуске. Мы поднимаемся босые. Сестра улыбается, волосы её полощутся, как рушники. Ей всего пятнадцать, он встретит её на следующий год. И чего он плачет?

И КАЖДЫЙ РАЗ

«Наверное, опять поёт в одиночку и вяжет мне оранжевые варежки» — думал сын о старенькой матери. Мать распускала всё, что привозила ей из поношенных вещей родня.

— Да ты с ума сошла! — говорил сын по приезде, когда она показывала ему огромный красный берет с петлёй и пампушками на макушке.

— А что? — вскидывала брови.— Как раз в бане париться. Вот ушко для гвоздя. Примерь уж!

Всё сидела на диване, щурясь сверкала спицами, о чём-нибудь рассказывала.

— Вот слушай дальше. Закончил он гражданскую в чине офицера. Я маленькая была. Помню, он сушил на завалинке свою полковничью шинель, папаху. Сапоги пропитывал печной сажей. Дёготь не любил.

— Он у нас,— скрывая улыбку замечал сын.,— кажется, поручиком был.

— Сначала — да, поручиком,— говорила невозмутимо,— выполнял поручения царя. Это когда охранял его в Ялте. Они по Чёрному морю на лодке катались. У-ух! Тридцать три гребца! Все в папахах, а погоны!..— мать вскидывала и крепенько сжимала в воздухе кулачок,— как жар горели! Те гребли, а папа сидел возле царя. Я там

была, в Ялте-то. Это в каком году?.. В 62! И вот гребут они, а папа — управляющий. Рулём управляет. Царь любил, когда папа пел. Лодка летит, качается. А папа поёт: «И княжну свою бросает в набежавшую волну». Тогда у царя дочка родилась. Не дочка, а не знай кто. То ли лягушка, то ещё что,— мать принагнулась над вязанием, сощурилась, будто что-то в прошлом разглядывала.— Царь велел её запаковать в бочку и сбросить с горы. И вот они бочку законопатили, и там, в Ялте (там гора большая есть) катят! Все тридцать три человека. Бочка подпрыгивает на кочках, люди бегут за ней, кричат и подталкивают. А папа отказался катить бочку. Царь увидел это и говорит: «Ты зачем, Исхак, отказался?» — «А я, говорит, не могу ребёнка убить. Пусть даже это не дитя, а лягушка».

Царь и говорит: «Добрый ты человек, Исхак!» — и подарил ему за это золотую саблю. Вот отец её с гражданской и привёз. Я всё с кисточкой играла. Привяжу её к волосам и бегаю, как царевна.

Эх, сынок, не знаешь ты, какой у тебя дед был! Глаза синие, усы чёрные! Не даром у него две жены было, жили в разных половинках, роды друг у друга принимали. Мама была младше отца на двадцать лет. А потом у нас всё отняли, даже посуду, отца посадили. У меня ведь, сынок, ещё два брата сводных было, погибли во время войны.

Сын любил слушать её рассказы, уютно было на душе, хорошо.

В те годы, странное дело, мать, заканчивая какой-нибудь разговор, как бы между прочим произносила: «Гафу ит, улым» — «Прости, сынок».

Сначала сын на это внимания не обращал. Но подобное стало повторяться часто.

Поправит перед уходом его кашне, стряхнёт пылинку с пальто. «Прости, сынок» — скажет и уйдёт в кухню, опустив голову.

Сын, человек от природы тактичный, ни о чём не спрашивал. Может, это глубокая материнская тайна. Но сам мучился. Что она имела в виду? Может, всё же хотела сделать аборт, но врачи сказали, что поздно. Может, они с отцом жалели, что утонул не он, а старший сын, очень красивый и кроткий? Да мало ли что!

И только через несколько лет, как бы шутя, он спросил у матери об этом прощении.

— А? — оборвала она,— ничего я не просила! — и ушла в кухню.

Лишь потом до него стало доходить, что возможно это обыкновенное чувство материнской вины: прости, сынок, что я твоя мать, прости, что я есть, прости, что есть ты, за все прости...

Когда он уезжал на целый год, на неё находило сущее горе. Тяготилась сознанием, что вот остаётся, а сын вынужден отбыть на чужбину, где-то трудиться среди чужих людей...

В дорогу она пекла ему перямячи, пироги, на рынке покупала разноцветные полотенца, красивые чашки. Перед поездом, не смотря на то, что он уже попрощался, обнял и крепко зафиксировал — сохранил её до будущей встречи, выходила провожать. В темноте все плелась и плелась — до самой Даурской. И когда он переходил улицу, отходил дальше, где удобней поймать такси, всё стояла. Возможно, уже не различая его силуэт в темноте. Сын знал, о чём она думала...

В тот август он не выходил на Даурскую, отъезжал от подъезда на своей машине. Мать норовила засунуть в салон вещи, от которых он ещё дома отказался. Пока он возился в багажнике, незаметно запихивала в салон.

— Ну, ё моё, мама!

Он вытаскивал ненужную сумку обратно.

— Тогда, сынок, одеяло возьми,— она прижимала к груди шерстяное покрывало,— вдруг в лесу ночевать будете.

— Не открывай дверь, собака выбежит.

Раскачивая салон, в машине грохотала на прохожих овчарка, а при открытии двери норовил убежать оглоушенный его басом кот...

Сын отнял у матери сумки и, строгий, уже уставший что-либо доказывать, сложил на бетонную балку у въезда во двор.

— Ну как это?! — недоумевала мать, и будто из воздуха, по волшебству, в руках у неё оказалась авоська с яблоками.

— Знаешь что, мама!.. Голову морочишь. Я забуду что-нибудь важное!

Он опять собрал вещи, сложил у неё на груди, взял за плечи, развернул и жёстко отвёл её к подъезду. По-сыновьи требовательно сказал — иди! Когда держал за плечи и вёл, она как-то испугалась, три шага скоро просеменила... а он, не попрощавшись, быстро, как убегают от канючащих детей, подбежал к машине, сел и уехал...

Он забыл попрощаться. Как и с отцом. Обнять, зафиксировать живую до следующей встречи. Его будто усыпили — и этому помешала мать, сама в те минуты будто заколдованная...

А потом, 23 августа, на рассвете его разбудил сотрясающий вселенную мобильный...

С тех пор прошло уже пять лет.

Пять лет сын жил круглым сиротой.

В смерти родителей винил только себя. По ночам, глядя в темноту, слёз набухших не вытирал. И шептал себе в наказанье — с каждой строкой все остервенелее, все злее:

И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!

ЖДАНОВА-ЭСПЕРАНТО-НАЗАРБАЕВА

Люди не понимают, что Жданов — это не человек.

Жданово — это ветер в лицо и леденеют ресницы, когда летишь со ждановской горы на таратайке.

Жданово — это от слова ждать. Автобус.

Раз пять за день приходит он под номером 10. Львовский, очень тёплый, с горячим двигателем и пропеллером сзади, большим, как у самолёта. И звук у него поющий, уютный.

Это лучше, чем кино с карманом семечек в «Мире», да ещё контролёрша вытряхнет твои семечки в урну, в перевёрнутый буржуйский котелок, что стоит под дверью. Лучше дождаться в морозный солнечный день автобус, провалиться в сиденье и ехать от Калинина вниз. Дохнёшь в морозное стекло, протрёшь пальцем дырочку и смотришь в овраг — на деревянные избушки, с голубятнями, латаными крышами.

Иногда из-за малости картинки не узнаешь места.

Вот снежное поле Кабана. Здесь спит подо льдом мой уж. Зовут его Конунг. Ужа мне принёс летом Вовка, большого, блестящего, как синяя окалина в масле, с золотой короной на голове. Мать Вовку вместе с ужом из дома выгнала — уж прополз под половиком и насмерть её напугал.

Я сделал ему клетку, поставил в саду. А тут кот как бросится! Змея в ужасе прижалась к полу, кот суёт когти в сетку, обнимает клетку, даже дёргается от нетерпения. Такого я не ожидал...

Что делать? Когда-нибудь это плохо кончится. И чем кормить ужа? И тогда мы всей улицей понесли Конунга в зоопарк.

А там не берут! Мы упрашивали служащих, они ходили к директору. Но тот строго отвечал — нет!

Бедный уж! И зачем тебя привезли в город? Жил бы и жил в своём лесу в Каменке. В горести, в отчаянье мы побрели к озеру. Выпустим в заросли. Может, здесь...

Не успел я открыть дверку — уж кольцом выстрелил в воду! Оказывается, он умел плавать! Даже ещё как! Вскинул золотую корону и, извиваясь, пошел-пошел мимо белых лебедей к середине озера...

По малости лет мы не знали, что это его родная стихия.

Спи, мой дружок. До весны!

А вот и плетеневские бани. По тротуару плюются горячие патрубки. Пар поднимается на морозе, покрывая инеем стены и деревья.

В эти бани водили нас мамы. В воскресенье очередь на два этажа. В туманных моечных — в тесноте и криках, в пещерном грохоте шаек женщины втирают в головы кислое молоко, яйца. Стойко пахнет липовым мочалом, ошпаренном в кипятке. Уставшие малыши капризничают, и домой их везут по морозу спящими.

На повороте на улицу Сайдашева — химкомбинат. Здесь варят мыло. Я раньше никогда не мыл лицо с мылом, а как узнал, что его делают из собак, то совсем перестал умываться с мылом.

Вдоль Сайдашева — медико-инструментальный завод. На свалке можно найти шприцы, ими весело брызгаться в школе.

А вот и 13-я деревянная школа в два этажа. Небольшая, уютная, будто сельская, и за нею загадочный школьный парк. В этом сумеречном парке, с палыми листьями кленов на тропе, хорошо гулять. И, глядя в бледное, мокрое от дождя лицо, объясняться в любви. Так думал я, с малых лет начитавшийся Пушкина,— так думал, потому что видел здесь однажды красивую белолицую девушку. В синей форме и чёрном фартуке, с портфелем в руке, она выходила из ворот школы, и вдруг взглянула сквозь стекла автобуса на меня, задержала взгляд. Внутри у меня тогда все перевернулось, я даже испугался. Она была старше меня года на три, зрелая, на развитых икрах ног — затянуты ремешки сандалий, как у древней гречанки. И я влюбился. Я начал здесь ездить часто, весной и летом, въезжал на Сайдашева, как в сказочную страну. Однако искал девушку напрасно: в этой школе учили лишь до восьмого класса

Здесь же, около школы, железнодорожный переезд на другую сторону Слободы, где Мехкомбинат.

Автобус встаёт перед опущенным шлагбаумом — машинисты устроили манёвры. Свистят и машут флажками — формируют составы. Иногда по часу.

После Мехкомбината, с длинным деревянным забором, крашенным в зелёный цвет, ехать вдоль Волги до Победилово.

Часто здесь, вдоль зелёного забора, мужчины-мусульмане, быстро, будто их подгоняют плётками, несут на плечах носилки с покойными — в сторону двора «Точмаша», к главному входу на зират. На плечах у них, на носилках — скудно завёрнутый в байковое одеяло мужчина, стянут лентой, будто сигара золотистой нитью. Или под дугообразным цветистым шатром женщина. Мужчины по битому асфальту торопятся, подворачивают на ямах ступни в полуботинках, ветер продувает продолговатый шатёр насквозь. И оттого трепещет и вьётся на ходу — на забранной в гофру материи, на самом конце покрывала, большая огненно-синяя ромашка. Будто это машет ушедшая замершим на секунду прохожим: вот так! видите? жизнь пройдёт быстро, как этот бег.

Здесь же 1 Мая под алым шёлком знамён проходят трудящиеся. Женщины молчаливо хвастают обновками. На мужчинах — чёрные кепи и жёсткие чёрные плащи, с чёрно-белыми кубиками на подбое.

У сушопилок каменный дом, в доме — комод, в комоде уложены старческими руками бабушки мои кубики и солдатики. Но там я не выйду. Я не могу. Завтра же родители узнают, что я мотаюсь в автобусе.

На берегу Волги заснеженные пустыри, сторожевые избушки и даль, ледяная, безлюдная.

В Победилово — Круговая и кафе.

Денег хватит лишь на какао, кусок хлеба и полоску копчёного окорока. Съешь хлеб, выпьешь какао, а сочное, неизбывное сало всё жуёшь и жуёшь — есть ли на свете вкуснее жвачка?

Вечером на остановке «Промбаза» бегут к автобусу рыбаки. В валенках, тулупах, в распахнутых брезентовках с капюшонами, в сумерках похожие на больших летучих мышей. Тащат за верёвку ящики на полозьях, внутри прыгают мёрзлые ерши.

Рыбаков, занявших все сиденья, ругают усталые после смены женщины — меховщицы и труженицы «Точмаша». Рыбаки сидят как глухие, прикрывают «бестыжие хари» рукавицами, держат перед собой черенки бура или пешни.

Скоро моему путешествию конец. Автобус уверенно идёт на Ждановскую гору. Мягко воет двигатель. Тепло. Водитель давно в одной рубашке.

За окном, в сумерках, дымят растопленные печи...

Уроки учить не надо, я всё помню на слух. На диване меня ждёт котёнок. Есть первые стихи в тетрадке...

Я калуженский неуч. И потому название Эсперанто для меня, как для деда Щукаря — Кибернетика. Да и в ту пору слово Эсперанто вслух не произносили, как и слово Космополит. Оно ещё шарахалось по углам лабораторий, как квёлый диссидент, пробирающийся в ночи на читку запрещённого, а Хрущёв в валенках и сером полупальто стерёг его со свистком в кармане, хвать и — «сюда! политического пумали!»

Да и простит меня, в свою очередь, господин Назарбаев — я его на этой горе ни разу с таратайкой не видел.

Для меня есть одна улица. Жданова. Которая — ветер в лицо, дрожащая под ногами таратайка и холодный весёлый ужас в паху.

Не поймут же люди, что Жданов — это не человек!

КАЗАНСКИЕ ОБЕДЫ

казус 1

Когда я приезжаю в Казань, сразу с поезда направляюсь к Волге. Ход с вокзала на дамбу ещё открытый. Вещей у меня — всего рюкзачок, и я похож на старого студента.

Спускаюсь с пешеходного моста на мусорную поляну, шагаю по тропинке сквозь заросли. И, поднявшись на дамбу, иду на пляж Локомотива.

Купаюсь. Цветущая вода залива тёплая. Ногой цепляю меж пальцев щекочущие нити водорослей. Выхожу на берег, ничком валюсь на горячий песок — между чёрных угольков от кострищ. Кладу ладонь под щеку.

Рядом шелестит ивняковый кустарник. Стучат по кожаному мячу загорелые волейболисты: мальчишки, пенсионеры и студентка.

Подростки — одни очень тощие, другие чрезмерно пухлые. Пенсионеры все сухощавы, нещадно обветрены, с полосками белесой соли на боках, как у сушёной воблы. Они азартно следят за полётом мяча, и выгоревшие добела их плавки сзади отвисают к земле, как у деток.

И с ними эта великолепная студентка! В синем купальнике, с медным кольцом-пристёжкой на бедре. Кольцо от резких взмахов руки сдвинулось с незагорелой кожи в сторону. И кружечек этот, девственно белый, светится в моём мозгу, как призывное тавро. Как оттиск кольца с пылающих ноздрей быка — поцелуя впившегося в чресла девушки страстного Юпитера. Мальчишки и пенсионеры в неё одинаково бессовестно влюблены. Они жестоко соперничают между собой из-за её улыбки или дружественного взгляда.

Иные выходят из игры и, насвистывая, будто ничего не случилось, стыдливо ложатся животом на песок.

Я тоже наслаждаюсь теплом родной земли!..

Щурюсь на солнце, принимаю сторону то крикливых мальчишек, у которых ещё всё впереди, то ревнивых и мстительных пенсионеров, которые злятся на сопляков за то, что те не понимают, что у них, пенсионеров, всё позади, и потому в кругу этом должны быть хоть какие-то льготы.

Спортивная девушка эта с тёмными, распущенными по плечам волосами, подскакивает и уверено, с улыбкой, бьёт по мячу. Кажется, она любит всех партнёров одновременно,— и встань я в круг вместе с ними, наверняка, полюбит и меня. Здесь нет музыки, дорогих вин и шикарных автомобилей. Они далеко за дамбой. Здесь вольная площадка, отломившаяся от той навеки ушедшей страны,— проекция на песке старой стрекочущей киноленты. Здесь только плавки и купальники. И эти лица. Все равны, и потому здорово, что каждый может встать в круг и подавать мяч в сторону девушки. А после игры пойти её провожать. Вот она в лёгком халатике идёт по кирпичному парапету над дамбой, над камышовым затоном, балансирует то в правую, то в левую сторону; держит за ремешки свои сандалии. Смеётся... Я представляю мучительный роман. С почтовым ящиком, дороже банковской ячейки, и аудио-почерком на тетрадном листе. С раскрытыми настежь окнами и нервно вздымающимися тюлями. С опадающими пионами в вазе на столе. Закрываю глаза и долго-долго, под стук мяча, живу в том романе...

На другой день еду в Речной порт. Долго брожу по набережной. Наконец беру билет на «Метеор». Он торжественно отходит от причала, пускает лёгкие буруны, разворачивается. Стелет едкий дизельный дым вдоль борта. Выйдя из акватории, прибавляет скорость и, как дракон, встав на дыбы, летит по фарватеру вниз по Волге.

В тот день на «Метеор» я опаздывал: изрядно помотался по делам, проголодался, и перед поездкой нужно было успеть подкрепиться.

В порту есть ресторан «Чайка». Летом там выносят столы на улицу — под зонтики.

Я сошёл с автобуса, официанта у зонта ждать не стал, сразу поднялся на второй этаж. Высокий парень, с бантиком у горла, выслушал меня, свесив с руки салфетку.

— У меня полчаса,— сказал я.— «Метеор» будет в два. Пять минут купить билет. Сможете быстро подать обед?

— Нет проблем! — ответил официант.

— Отлично!

Я люблю молодых людей, от них веет свежестью и верностью слову. Они всей душой участвуют в твоём деле.

Парень предупредил заведующего — тот подключился, прикрикнул в парные глубины кухни, и поварята, как в фильме про три толстяка, забегали.

Мне неудобно, что я напряг весь ресторан. Стоит поднять глаза, стоящий у кухни официант, весь в белом, словно капитан счастливого флота, приветливо вскидывает руку — все чики-чики, сэр! Успеем!

Мне приносят горячий борщ, лагман, чашку с кипятком, сахар и пакетик с чаем.

Насыщаюсь. Запиваю еду чаем, вытираю усы салфеткой. Гляжу на часы в телефоне — остаётся минут десять. Касса и проход к «Метеорам» рядом. Отлично! Осталось расплатиться.

У меня рубашка с большими карманами на груди. И ещё один потайной карман на замочке. Расстёгиваю молнию. Шарю в кармане пальцами: паспорт, ключи... пачка квитанций... Где же?.. По затылку снуют мурашки. Будто насекомые, бегут за шиворот, ползут по спине... Пятитысячной купюры нет! Только мелочь на автобус. Лезу в карманы брюк. Нет!

О, Босх! Казался ли когда в моей жизни мир столь уродливым и ужасным?! Бывал ли когда-нибудь я так крепко привязан к столбу позора перед тем, как этот позор озвучат?! Нет, я этого не вынесу! Бежать? Лестница далеко, официант может подставить ногу, и я снесу головой чужие обеды: сварочные брызги горячего куриного бульона, переполох над тарелкой жареных крылышек... Гляжу на окна. Большие, открытые настежь. Шевелят на бризе тюлями, открывают с моей стороны широкую щель.

Прыгать со второго этажа? Нет, я не Лжедмитрий! У того на кону стояло царство, а я должен ломать ногу за четыреста рублей?!

Надо представить выражение моего лица и лица официанта, когда он понял, что денег у меня нет...

Я их потерял или просто забыл взять. Деньги обычно лежат у тёщи на пианино. Вероятно, хотел взять, это зафиксировалось в голове, а в карман положить забыл.

Я предложил официанту мой паспорт и поехал через весь город на Гагарина. Так и есть — пятитысячная купюра лежала на рыжем пианино...

С официантом я расплатился через час. Но прогулка моя пропала — «Метеор» ходит только в 8 утра и в 14:00.

Из ресторана я вышел к дамбе — на волжский ветер. Пахло рыбой и водорослями. По серой поверхности акватории приветливо бежали в мою сторону белые гребешки. За ними тянулся долгий мыс «Локомотива», песчаный берег с кустарником. Хотелось сесть на том берегу и, глядя в нереализованную даль, плакать...

На «Метеоре» я прокатился на другой день, пообедав в том же ресторане. Вот только смена официантов, как и вода в реке, в тот день была другая. А та, вчерашняя вода, та лёгкая и бегучая, к которой я с восторгом стремился, навсегда ушла. Она

там — вдалеке, уже в одном потоке со струями, омывающими дощатые борта галеры «Тверь» царицы Екатерины Второй или стругов Степана Разина,— как ни бейся, в минувшем.

казус второй

И вот я опять в Казани. Иду, хмелея от счастья, по родной Кремлёвской. И вдруг, дойдя до Университета, ощущаю страшный голод.

Это в желудке загорелась лампочка Павлова.

Это я, студент-армеец, руки лома просят, спускаюсь после долгих пар на первый этаж — в переполненный буфетик химфака, величиной со встроенный шкаф. Вижу в витрине через головы прилипших к стеклу щебетуний два пережаренных кусочка минтая, в холодном жиру маргарина. «Какая гадость ваша заливная!» — отворачиваюсь не от того, что рыба так уж плоха, а оттого, что эти две ржавых осиновых коры с масле, эти птичьи пайки, мне всё равно не достанутся.

Я потому и бросил университет, что ходил там постоянно голодный. Пусть знают! И поймут, что в очереди сержанту среди вчерашних тонконогих школьниц толкаться не комильфо! Что вчерашнему воину ещё долго кажется, что он в мощных кирзовых сапогах, а пальчики на ногах девочек до того хрупки!.. И что солдат ребёнка не обидит, пусть знают! Пусть девочка рыбку эту съест!

А между тем июль, жара. В желудке сосёт. Спускаюсь вправо по Университетской. Вижу кафе. Вывеска на латинице. Захожу.

Тихо и сумеречно, как в гроте. Прохладно.

В глубине — в ступе, с прозрачным верхом, сидит Василиса Прекрасная.

Поднимается и выходит ко мне. В чёрном бархате до щиколоток, волосы цвета пеньки распущены по плечам. Лицо белое, изумительно свежее и красивое. Платье на ней просторное. Однако, платье не может скрыть прелестей её фигуры, когда она двигается: длинных бёдер и пустотных складок у осиной талии.

Я в джинсах и простой рубашке. Но девушка глядит на меня с уважением, почти с восторгом, как на преуспевающего банкира. Что-то рассказывает, голос между тем элегантно приглушён, будто мы в кирхе или музее.

От такого внимания кружится голова. Будто меня поймали на красной дорожке, перепутав с Жераром Депардье, и вот ведут интервьюировать, награждать, осыпать аплодисментами.

В зале, куда девушка меня провела и усадила, словно больного, я опомнился.

Спрашиваю меню.

— Ах, меню!..— спохватывается она, чуть краснея. Уходит и приносит из своей будки цветную брошюру. Отправляется восвояси. Мелькают под складками длинного подола башмаки на высокой подошве. Мягкие. Узорчатые. Будто и вправду прислужница в княжеском тереме.

Наверное, я должен сидеть и ждать официанта. Я сто лет не был в шикарных кафе. Тем более в центре крутого города. Опять оглядываюсь. Зал совершенно пуст. На огромных окнах огромные тюли. Сочится с улицы белесый дневной свет.

Проходит минут пять. А девушка не подходит. Наверное, сидит за углом в своей ступе. Мне одиноко. Я уже тоскую по ней. По глазам, по голосу, по ауре доброты, исходящей от неё.

Судя по такту, она из порядочной семьи. Возможно, студентка этого университета, подрабатывает здесь метрдотелем. Такая вот красавица, богатым кощеем задёшево выставлена к входным дверям — привлекать с улицы влюбчивых дядечек.

Этот кощей, наверное, её пользует. Но она не может противиться — жить и учиться на что-то надо. Я бы этого кощея из автомата по частям покидал на лампочку!

Опять осматриваюсь. Зал исполнен в американском стиле: ничего лишнего, преобладание чёрного и хрустального. Повара готовят прямо здесь. У стены. За стойкой.

Читаю меню — цены запредельные.

За стойкой кавказец, в белом поварском колпаке. Мускулистый, иссиня-выбритый. С клочком торчащей шерсти на кадыке. Ножом скребёт у груди серебряный поднос, похожий на чеканный щит.

Подхожу к нему, объясняю, что есть хочу.

Он внимательно на меня смотрит.

В меню, мол, всё по-французски. А мне бы что попроще и посытней. Лапшу. Картошку с мясом. Похожее блюдо я нашёл в меню. Страничку эту оставил открытой на столе.

Повар, кажется, не понимает. Вслушивается, морщится — и постепенно всё лицо его приобретает кислое выражение, будто он сосёт дольку лимона.

— Ну, баранину,— говорю и показываю рукой на стол, на меню.— Как на иллюстрации.

Он глядит выпуклыми глазами, а потом осторожно и неуверенно спрашивает:

— Вам кастрасий?..

У горца, конечно, акцент сильный и падеж неправильно он поставил. Но если с его русского на русский перевести, то получится «Вам кастрацию?»

Мол, любой каприз за ваши деньги.

На миг я представил то, что есть у меня,— в окровавленном виде на чеканном подносе.

В другое время я бы захохотал. Но мне не до смеха. Мне очень грустно. Я думаю о ней, о Василисе.

И тихо отправляюсь в сторону выхода.

В холле мимоходом гляжу за бликующее выпуклое стекло. Ещё более замедляю шаг. Василиса сидит в своей прозрачной скорлупе. Низко склонила голову, читает книгу. Прекрасная!.. Я таких никогда в жизни не встречал! Такая белая, такая красивая и такая юная! У меня кружится голова, в глазах помутнение. Я хочу здесь остаться.

Но как?!

И что сказать?

Летят мгновенья. Девушка уже за спиной!..

Но ведь она годится мне в младшие дочери! И если что дарить ей, то аленький цветочек. Между нами стена! Непреодолимая и немыслимая. Здесь бессильны стенобитные машины, и даже новая Троянская война!

Прихожу в себя на брусчатке Университетской. Кажется, голыш под моими кожаными подошвами скользит вбок — под горку. Сотворяя ощущение невесомости.

Из каменных ворот Alma Mater веет запахом цветущих лип.

Забудь! — нежно треплет седину учёный ветер.